

Николай Бердяев

О САМОПОЗНАНИИ И ЕГО ПРЕДЕЛАХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СЕБЕ*

Аннотация. Рассматривается: самопознание как творение своего образа; идея о том, что государство есть плебейское учреждение; идея о том, что всякий иерархический порядок в мире есть объективация, то есть отпадение духа от самого себя; идея о том, что личности нет без изменения, но личности нет и без неизменности; идея о том, что в смерти, в убийстве, в ненависти есть предел чуждости; идея о поиске пути трансцендирования к преображенному и освобожденному миру.

Ключевые слова: самопознание; бессознательная хитрость; вера в человека; искренность; потенциальное преступление; духовный путь; асоциальность; социальность; смысл жизни; конфликт личности; индивидуальность; чуждость мира; страх отдаться потоку жизни; преодоление воли могуществу.

Abstract. Self-knowledge as a creation of one's image is examined in the article. Ideas that the State is plebeian institution; every hierarchical order in the world is objectification that is defection of a spirit from itself; there is no personality without changes; but there is no personality without constancy as well; there are limits for foreignness in death, murder and hatred; searching of ways of transcendence to transformed and free world are discussed.

Keywords: self-knowledge; unconscious ruse; trust in man; sincerity; potential crime; spiritual way; asociality; sociality; meaning of life; conflict of a person; individuality, foreignness of world; fear to go into life's stream; overcoming of will to power.

Я созидаю свою
личность... когда
познаю себя

В «я» акт познания и предмет познания – одно и то же. Это хорошо понимал Фихте. Моя личность не есть готовая реальность, я созидаю свою личность, созидаю ее и тогда, когда познаю себя; «я» есть, прежде всего, акт. Уже греки видели в познании самого себя начало философии. И на протяжении всей истории философской мысли обращались к самопознанию как пути к познанию мира. Но что это было за самопознание? Было ли это самопознание вот этого конкретного человека, единственного и неповторимого человека, было ли это его познание и познание о нем? Думаю, что это было не познание о нем, а познание о человеке вообще. Самопознающий субъект был разумом, общим разумом, пред-

* См.: Бердяев Н.А. О самопознании и его пределах. Заключение о себе // Самопознание / Опыт философской автобиографии. – М., 1991. – С. 315–333.

метом его познания был человек вообще, субъект вообще. Общее познавало общее, универсальное познавало универсальное. Сам познающий себя человек ступенька, в нем оставались лишь общие черты, исчезало необщее выражение лица.

Греческая философия стремилась к познанию единого универсального

Греческая философия, несмотря на лозунг «познай самого себя», стремилась к познанию единого универсального и неизменного и отвращалась от множественного и подвижного мира. Греческая философия открыла разум, который стоит под знаком общего-универсального, и это открытие использовала вся европейская философия. Лишь изредка происходил прорыв к действительному самопознанию, например, в «Исповеди» блаженного Августина, у Паскаля, у Амиеля, у Достоевского, у Кирхегардта, у людей XIX и XX века, экзальтировавших субъектность на счет подавлявшей ее объективации.

Литература исповедей, дневников, автобиографий прорывается к экзистенциальной субъективности

Лишь литература исповедей, дневников, автобиографий и воспоминаний прорывается через эту объективность к экзистенциальной субъективности. Роман, раскрывшийся вполне лишь в XIX веке, был настоящим путем самопознания человека, и этим он приобретает философское значение. Более всего это, конечно, нужно сказать о Достоевском, творчество которого есть настоящая антропология и метафизика. Но когда познающий субъект направляется на самого себя, как на предмет познания, то возникают трудности, на которые много раз указывали и которые преувеличивали. Тут субъект слишком заинтересован в своем предмете, относится к нему страстно и пристрастно, склонен к самовозвеличению, к идеализации того самого «я», которое так часто бывает ненавистно.

О непереходимых границах самопознания

И для этой моей книги ставится для меня вопрос о правдивости и искренности, о непереходимых границах самопознания. В отношении ко мне самому, как познаваемому, исчезает объективация, отчуждение, поглощение индивидуального общим, и это великое преимущество, которое дает надежду, что познание будет экзистенциальным. Я сам, познающий – экзистенциален, и эта экзистенциальность есть вместе с тем не объективируемый предмет моего познания. Но объективация возникает всякий раз, когда я начинаю себя идеализировать или когда обнаруживаю смирение паче гордости, когда бываю не до конца, не до последней глубины, правдив и искренен.

«Я начинаю творить свой образ, возвеличенный или приниженный...»

На этих путях я начинаю творить свой образ, возвеличенный или приниженный, объективированный во вне. Я начинаю себя стилизовать, и мне самому

начинает нравиться мой стилизованный образ. Я создаю о себе миф. Иногда я вызываю в себе отвращение, *le moi est haissable**. Но этот вызывающий отвращение собственный образ я тоже объективирую и стилизую. Во мне лично совсем нет актера, я никакой роли не хочу и не могу играть. Я очень хотел быть искренним и правдивым в этой книге, которую считаю опытом вполне личной, экзистенциальной философии. Но я совсем не уверен, что это мне всегда удавалось. Перечитывая книгу, я почувствовал, что она мне не удалась такой, какой я ее задумал. Она оказалась смешанной по своему типу, не выдержанной по стилю. Я, наверное, нередко идеализировал себя, объективируя свой образ для других, даже тогда, когда как будто говорил о себе плохое и унижал себя. Впрочем, мне не свойствен пафос самоуничижения, которое я считаю такой же объективацией, выбрасыванием во вне для других, как и самовозвеличение.

Последняя искренность и правдивость лежит в чистой субъективности

Последняя искренность и правдивость лежит в чистой субъективности, а не в объективности. Ницше говорит в «По ту сторону добра и зла»: «Что мы можем описать? Увы? Это всегда лишь то, что начинает увядать и портиться». Есть мучительное несоответствие между моей мыслью и ее словесным выражением. Время и память нас обманывают, и мы этого даже не замечаем. Сент-Бёв говорит по поводу мемуаров Шатобриана: «Il a substitué plus ou moins les sentiments qu'il se donnait dans le moment où il écrivait, à ceux qu'il avait réellement aux moments qu'il raconte»**. И с этим почти невозможна борьба.

Человек есть существо бессознательно хитрое и недостаточно прямое

Человек есть существо бессознательно хитрое и недостаточно прямое, существо запутанное и не легко поддающееся пониманию. Я не молчащий, я говорящий. Но часто, часто вспоминаю гениальный стих, лучше всего выражающий мучительную тему:

*Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пуškai в душевной глубине
И всходят и зайдут оне.*

.....

* *Le moi est haissable* – я себе ненавистен (фр.).

** «Он подменяет в какой-то степени чувства, которые действительно испытывает в те моменты, о которых рассказывает, чувствами, которые появляются у него в тот момент, когда он пишет» (фр.) (Шарль Огюстен Сент-Бёв (1804–1869) – французский критик. – С. 379).

*Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.*

.....

*Лишь жить в самом себе умей:
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум...**

Человек может
скрывать себя
в своей мысли

В конце XIX и начале XX века считали огромным достижением в познании человека, в понимании писателей и разгадки написанных ими книг, когда открыли, что человек может скрывать себя в своей мысли и писать обратное тому, что он в действительности есть. Это открытие очень преувеличили и признали почти законом, что в своей мысли и своем творчестве человек всегда скрывает себя и что нужно думать о нем обратное тому, что он сам о себе говорит. Ницше, Кирхегардт со своей системой псевдонимов, роман психологического анализа и особенно школа психоанализа давали пищу такому пониманию: человек не то, за что он себя выдает. Очень злоупотреблял этим Л. Шестов и часто делал это мастерски. О человеке были сделаны большие разоблачения, было открыто подсознательное в нем, попытались увидеть его снизу, а не сверху.

Христианское учение
о греховности
человеческой
природы

Христианское учение о греховности человеческой природы, которое очень легко делалось совершенно отвлеченным, конкретизировалось и приобретало наукообразный характер. Теории Маркса, Ницше, Фрейда, Гейдеггера, современный роман, ужасы войны и революции, вспышки древней жестокости и господство новой лживости – все сокрушает возвышенные учения о человеке. И все же я думаю, что наиболее правы Паскаль и Достоевский, которые не имели никаких иллюзий, но открывали человека как существо двойственное, низкое и высокое. Я имел много разочарований в людях, я видел много низости, лживости, злобы, жестокости, измен, много разочарований я испытал в человеческом общении и сам был виновником этого разочарования. Я не знаю ничего мучительнее этих изменений людей, вследствие приспособления к господству и силе, этих измен.

«И все же во мне
сохранилась вера
в человека»

И все же во мне сохранилась вера в человека, в Божий замысел о человеке. Вера в человека есть одно из

* *Молчи, скрывайся и таи...* – Бердяев не совсем точно цитирует стихотворение Ф.И. Тютчева «Silentium!» (1830, 1854). – С. 379–380.

выражений веры в Бога и божественное. Всякая вера, вера в истину, в смысл, в ценность, в высоту есть лишь вера в Бога. Про себя могу сказать с большой искренностью, что я не очень благоприятный и не очень благодарный предмет для модного психоаналитического метода исследования (это нужно понимать гораздо шире Фрейда и современной психопатологии). Несмотря на скрытность моего характера, я ни сознательно, ни бессознательно не задавался целью скрывать себя в своей мысли и писать обратное тому, что я есть в своей глубина.

«Я, конечно, многое оставляю скрытым...»

В этой книге я, конечно, многое оставляю скрытым и даже не пытаюсь раскрыть. И это вполне сознательно, это сознательно поставленные мной границы самопознания. Я не пишу ни для исповедующего меня священника, ни для психоанализирующего меня врача или пишу для них как для обыкновенных людей. Я не задаюсь целью обнаружить себя в сыром виде, обнажить себя, я задаюсь целью совершить акт экзистенциального философского познания о себе, осмыслить свой духовный путь. Плохо лишь то, что я не выдерживаю стиля, пишу смешанно и слишком свободно.

А. Жид хочет быть почти маниаком искренности

А. Жид написал две книги, в которых он говорит о себе и обнажает себя: художественную автобиографию *Si le grain ne meurt** и сравнительно недавно *Journal*. Известно, что проблема искренности для Жида основная, он хочет быть почти маниаком искренности, его *point d'honneur*** говорить о себе все самое плохое, некрасивое, отталкивающее. Удастся ли это ему? Думаю, что не вполне. Искренность, доведенная до крайности, может оборачиваться рисовкой некрасивыми, уродливыми признаниями. Это искренность не непосредственная, а рефлектирующая, раздвоенная, не «наивная», а «сентиментальная».

В подсознательных погребках каждого человека есть безобразное, уродливое, потенциально преступное...

В подсознательных погребках каждого человека, в его низшем «я» есть безобразное, уродливое, потенциально преступное, но важно отношение к этому его высшего, глубокого «я». И все же «*Journal*» Жида дает много для познания человека, особенно для познания современного человека. Другой случай. Л. Толстой – один из самых правдивых писателей мировой литературы, он великий правдолюбец. Но его «Исповедь», очень интересная, совсем не есть настоящая исповедь его грехов. Он до крайности преувеличивает свои грехи, называя себя

* «*Si le grain ne meurt*». – «Если зерно не умирает» (*фр.*). – С. 381.

** *Point d'honneur* – дело чести (*фр.*). – С. 381.

«Исповедь»
Л. Толстого есть
рассказ о духовном
пути искания
правды

Это не книга
признаний, это
книга познания
смысла жизни

«Будучи
асоциален... я был
очень социален»

Конфликт личности,
неповторимой
индивидуальности,
с общим и родовым

убийцей, вором, прелюбодеем и прочее, но этим он говорит отвлеченно о предельных грехах человека вообще, а не о своих конкретных, может быть, мелких грехах.

Его «Исповедь» интересна не как признание подлинных, конкретных, индивидуальных грехов, а как рассказ о духовном пути искания правды. Интересна попытка Гете написать о себе, озаглавив книгу «Поэзия и правда моей жизни». В ней есть правда, но есть и поэзия, выдумка, творчество о себе. «Исповедь» Руссо, хотя обозначает целую эру в обнаружении эмоциональной жизни человека, не есть искренняя исповедь. Он говорит о себе некрасивые, дурные вещи, в этом за ним последовал Жид, но он все-таки считает себя по природе добрым, хорошим человеком, как и вообще человека, и упоен собой. Моя тема совсем иная, и проблема искренности иначе ставится в отношении к этой теме.

Повторяю, это не есть книга признаний, это книга осмысливания, познания смысла жизни. Мне иногда думается, что эту книгу я мог бы назвать «Мечта и действительность», потому что этим определяется что-то основное для меня и для моей жизни, основной ее конфликт, конфликт с миром, связанный с большой силой воображения, вызыванием образа мира иного. Вместе с тем это говорит о преобладании воображения над сердцем. Я скорее преуменьшил, чем преувеличил степень моего разрыва с миром социальной обыденности. Я с детства находился в состоянии восстания против «иерархического» порядка природы и общества и никак не мог войти в этот порядок.

Я никогда не хотел и не мог чему-либо на свете подчиниться. Во всяком случае, хорошей стороной этого свойства была большая независимость. Парадокс моего существования в том, что, будучи асоциален и антисоциален в одном смысле, в другом смысле я был очень социален, так как стремился к социальной правде и справедливости, к социальному освобождению, к братской общности людей.

Я принадлежу к тому типу людей и к той небольшой части поколения конца XIX и начала XX века, в которой достиг необычайной остроты и напряженности конфликт личности, неповторимой индивидуальности, с общим и родовым. Было что-то личное мое в том, как я переживал этот конфликт. И своеобразие было в том, что я не могу быть назван в обычном смысле «индивидуалистом» и что я всегда критиковал «индивидуализм». Тема эта, основная для моей жизни, есть не только тема о столкновении личности с обществом, но и о столкнове-

нии с мировой гармонией. Судьба неповторимой индивидуальности не вмещается ни в какое мировое целое. Для острой постановки этой темы огромное значение имеет Достоевский, и в этом я его человек, продолжатель Ивана Карамазова, который наполовину есть сам Достоевский. И я не Бога не принимаю, а мира Божьего не принимаю. Я недостаточно подчеркнул это в своей книге о Достоевском. В известный момент моей жизни я также очень воспринял Ибсена и именно в этой теме, он помог мне найти самого себя. В какой-то точке я более соприкасался с Л. Шестовым, чем с другими русскими мыслителями начала XX века, хотя между нами была и большая разница.

Я не чувствовал себя по-настоящему и глубоко гражданином мира

Я не чувствовал себя по-настоящему и глубоко гражданином мира, гражданином общества, государства, семьи, профессии или какой-либо группировки, связанным единством судьбы. Я соглашался признать себя лишь гражданином царства свободы. В этом я не своевременный человек. Я принужден, жить в эпоху, в которой торжествует сила, враждебная пафосу личности, ненавидящая индивидуальность, желающая подчинить человека безраздельной власти *общего*, коллективной реальности, государству, нации. Сейчас более чем когда-либо я чувствую себя человеком, выпавшим из-под власти *общего*, *общеобязательного*, как любят говорить Кирхегардт и Шестов. Я никогда не мог примириться с родовым мирозерцанием, которое лежит в основании «правых» и «левых» социализированных направлений, вдохновленных все равно национализмом, этатизмом, клерикализмом, семейственностью или всевластной общественностью, коллективностью, всеобъемлющим тоталитарным коммунизмом или космизмом.

«Я не знаю ничего банальнее националистического мирозерцания»

Родовое мирозерцание мне всегда казалось банальным, и я не знаю ничего банальнее националистического мирозерцания. Нация, государство, семья, внешняя церковность, общественность, социальный коллектив, космос – все представляется мне вторичным, второстепенным, даже призрачным и злым по сравнению с неповторимой индивидуальной судьбой человеческой личности. Я никогда не соглашался сделаться частью чего бы то ни было. Но в то же время я очень остро и часто мучительно переживал основной парадокс личности. Я стремился не к изоляции своей личности, не к ее замыканию в себе и не к самоутверждению, а к размыканию в универсум, к наполнению универсальным содержанием, к общению со всем. Я хотел быть микрокосмом, каким и является человек по своей идее.

Макс Штирнер был прав, когда говорил, что весь мир есть «собственность» «единственного», то есть меня. Но это связано у него было с совершенно ложной философией. Учение М. Штирнера о «единственном и его собственности» можно признать бледным отражением и вырождением в материалистическом веке идей германской мистики.

«Весь мир должен быть моей собственностью»

Весь мир должен быть моей собственностью, и ничто не должно быть внешним, внеположным для меня, экстерииоризированным, все должно быть во мне. Солнце должно быть во мне. Но феноменальный, эмпирический мир не есть моя собственность, он экстерииоризирован в отношении меня, и он меня внешне насилует, и я не микрокосм, каким должен быть, солнце светит извне. Сознание границ моей личности, обостряющее личное сознание, есть, вместе с тем, сознание моего рабства у чуждого мне мира и моего восстания против него. Экстерииоризированная природа и общество не являются моей собственностью, моя собственность лишь очень частична и мала в отношении к ним, и моя индивидуальность неуловима для законов природы и законов общества, не говоря уже о законах государства. Но я согласен подчиниться и слиться лишь с той природой и тем обществом, которые будут моей собственностью, которые войдут в мой микрокосм или в меня, как микрокосм.

«Я выпадаю из экстерииоризированного для меня “общего”»

Я выпадаю из экстерииоризированного для меня «общего», притязającego быть для меня общеобязательным законом. Я человек, восставший в отношении ко всему экстерииоризированному. Это совсем не есть то, что обыкновенно называют индивидуализмом, хотя внешне это может казаться крайним индивидуализмом. Индивидуалист не стремится к универсальному содержанию. Тут скрыто противоречие личности, которое я очень остро изжил и которое связано с самым существом личности. Отношение между личностью и сверхличной ценностью парадоксально. С этой основной для меня темой связано полное отсутствие у меня всякого иерархического чувства, всякой способности почитать какой-либо иерархический чин или ощущать себя иерархическим чином. Мне свойствен прирожденный аристократизм, но я думаю, что этот аристократизм как раз и отрицает иерархические чины и положение в обществе.

«Я всегда думал, что государство есть плебейское учреждение...»

Я всегда думал, что государство есть плебейское учреждение и что так называемая аристократическая организация общества есть плебейская организация. Иерархическое чувство связано с чувством принадлеж-

ности к какому-то целому, в котором каждый занимает свое особое место, соподчиненное другому. Это все та же идея мирового порядка и мировой гармонии, за которыми признается примат над личностью. Но я не согласен, чтобы моя ценность и ценность другого существующего определялась порядком целого, общего. Я думаю, что трудно найти человека, у которого было бы не только отсутствие, но и глубокое противление всякому иерархическому порядку, Я никогда не мог вынести, чтобы отношения людей определялись по иерархическим чинам. Во мне вызывало отвращение, когда говорили, что кто-нибудь занял положение в обществе. Я совершенно не выносил, когда меня рассматривали как хозяина дома, главу семьи, редактора журнала, председателя Религиозно-философской академии и тому подобное.

«Все иерархические чины... всегда представлялись мне лишь маскарадом...»

Все иерархические чины этого мира всегда представлялись мне лишь маскарадом, лишь внешней одеждой, которую я охотно содрал бы. Мне всегда думалось, что подлинные качества и достоинства людей не имеют никакого отношения к их иерархическому положению в обществе и даже противоположны. Гении не занимали никакого иерархического положения в обществе и не были иерархическими чинами, как и пророки и святые. И когда Бог стал человеком, то занял самое последнее положение в обществе. Мессия должен быть распят.

«Мне неприятен всякий мундир... всякий условный знак почитания людей в обществе»

Мне неприятен всякий мундир, всякий орден, всякий условный знак почитания людей в обществе. И мне ничто не импонирует. Чины академические, общественные или революционные мне также мало импонируют, как и чины церковные, государственные, консервативные. В моем мироощущении есть своеобразный пессимистический анархизм. Иерархизм есть объективация, и он покоится на оптимистическом коллективизме, который свойствен был всем человеческим обществам. Мне смешно, когда коммунисты или национал-социалисты с гордостью говорят, что они создают новый мир коллективности, основанный на господстве общества над личностью, коллективно-общего над индивидуальным. Но, ради Бога, освежите свою историческую память. Ваш новый мир есть самый старый, с древних времен существующий мир. Личное сознание, личная совесть всегда была лишь у немногих избранников. Средний человек, средняя масса всегда определялась коллективностью, социальной группой, и так было с первобытных кланов. Всякая посредственность есть существо вполне коллек-

тивное, отлично социализированное. Совершенно новый и действительно не бывший мир был бы мир, созданный персоналистической революцией. Но такая революция была бы концом нашего мира.

§

«Я... вижу
предназначение»

И в моей собственной жизни я не чувствую иерархического порядка, не вижу осуществления плана, хотя вижу предназначение. Я ничего никогда не добивался в жизни, не стремился к осуществлению целей. Жизнь всегда мне представлялась сложившейся иррационально. У меня сохранилась большая благодарность к доктору Мотту, Г. Монбризону и С. Либерману, людям, которые поддерживали мою жизнь, когда мне особенно была необходима материальная поддержка, и преклонение перед той Высшей Силой; которая ей водительствовала, когда она была наиболее угрожаема. Но в моей жизни не было иерархической гармонии. Я думаю, что это отчасти связано с тем, что у меня не было полного доверия к реальности так называемой «действительности». Жизнь в действительности слишком часто напоминала мне сновидение и иногда кошмарное сновидение, но с прорывами дневного света. Я ведь не верю, не признаю и по своему непосредственному чувству, и по сознательному своему миропониманию, что «объективность» есть подлинная реальность, первореальность.

«Всякий
иерархический
порядок в мире есть
объективация, то
есть отпадение духа
от самого себя»

Объективность есть объективация, то есть порождение известной направленности духа и субъекта. Но всякий иерархический порядок в мире есть объективация, то есть отпадение духа от самого себя, экстерииоризация, совершаемая субъектом. Субъект и объект соотносительны. Рабство у объективности есть рабство, порожденное самим субъектом. Вспоминая свою молодость, я прихожу к тому заключению, что я был сравнительно мало внимателен к «эмпирической действительности» и мало ее знал. Молодость ко многому невнимательна и не имеет зоркости взгляда. Я был «идеалистом» не только в хорошем, но и в плохом смысле слова. Но это давало мне чувство свободы.

«Свобода есть
нежелание знать
необходимость»

Свобода совсем не есть познанная необходимость, как хочет Гегель и за ним марксизм, свобода уж скорее есть нежелание знать необходимость. Но «эмпирическая действительность» есть необходимость, ограничение и утеря свободы. Впоследствии у меня очень возросло внимание к эмпирической действительности и знание ее. Меня обогатил рост внимания. У меня возросло внимание в перечитывании старых книг. Но я очень почув-

ствовал горькость внимания «действительности». Есть истинный и ложный идеализм, как есть истинный и ложный реализм. Есть реализм, который есть не что иное, как порабощенность призрачным, иллюзорным миром грезящего субъекта.

«Мир делается все менее и менее таинственным»

Мир делается все менее и менее таинственным. Но истинное сознание в том, что тайна отодвигается в глубину. Для тех, для кого тайна совсем исчезает, мир должен представляться совсем плоским, двухмерным. Самое страшное, когда в иные минуты думается, что все плоско и конечно, нет глубины и бесконечности, нет тайны. Это и есть развержение небытия. Но эти короткие минуты побеждает чувство глубины, тайны, бесконечности. В детстве все таинственно, таинствен темный угол комнаты. Сфера таинственного потом суживается. Мир объективный, или, вернее, объективированный, делается все менее и менее таинственным, не таинственны даже бесконечные звездные миры.

«Для человека, не порабощенного объективностью, таинственность мира не исчезает»

Но для человека, не порабощенного этой объективностью, таинственность мира не исчезает, она лишь переходит в другую сферу. Тогда самое возникновение лишено таинственности объективного мира делается таинственным. И разгадка этой тайны лежит в субъективном мире, который совсем не сводим к психическим состояниям человека, как хотел позитивизм. Самое горькое знание, которое приобретает с возрастом, есть возрастание недовольства собой, самокритика. Моя европейская и даже мировая известность, то, что многим представляется славой и так их пленяет, оценка и почитание людей, не только не увеличила во мне сомнения, но скорее, наоборот, увеличила самокритику и недовольство собой.

«Я... не принадлежу к славлюбивым и честолюбивым людям»

Для понимания сложности и хитрости человеческой души нужно прибавить: у меня это было вроде того, как богатый человек чувствует, что совсем не дорожит материальными средствами. Но я все-таки решительно не принадлежу к славлюбивым и честолюбивым людям, не в этом мой главный соблазн. Может быть, тут играет роль гордость и равнодушие (плохое) и любовь к независимости и свободе (хорошее). Это не значит, конечно, что я совершенно равнодушен к оценке своей мысли, но я не глубоко задет моей известностью и даже никогда не мог себя почувствовать человеком с очень известным и оцененным именем. Должен сказать что-то очень важное и характерное для меня. Я решительно не могу и не хочу почувствовать себя лицом солидным и почтенным. Меня шокирует и даже обижает, когда меня считают

лицом почтенным. Почтенность не соответствует моему нуменальному существу. В почтенности есть что-то общеобязательное (Allgemeingultig), во мне же очень мало общеобязательного. Я скорее основываюсь на исключении, чем на правиле. Я не учитель жизни, не отец отечества, не пастырь, не руководитель молодежи, ничего, ничего подобного.

«Я остаюсь мечтателем, каким был в юности...»

Я продолжаю воспринимать себя юношей, почти мальчиком, даже в зеркале, за чертами своего постаревшего лица, я вижу лицо юноши. Это мой вечный возраст. Я остаюсь мечтателем, каким был в юности, и врагом действительности. Во мне нет старческой мудрости, и от ее недостатка я страдаю. Во мне, часто больном и физически ослабевшем, остается слишком большая впечатлительность и страстность. Я остаюсь в своем вечном возрасте юности. Старости духа нет, в духе есть вечная юность. Есть лишь старость тела и той части души, которая связана с телом. Есть старческие чудачества. Есть раздражительность в отношении к действительности. Но мысль еще более обостряется. Все обновляется для мысли. Очень увеличивается возможность сравнений, сравнений не только впечатлений от людей и событий, но и впечатлений от книг.

«Самое главное – достигнуть состояния подъема и экстаза»

По-прежнему я думаю, что самое главное – достигнуть состояния подъема и экстаза, выводящего за пределы обыденности, экстаза мысли, экстаза чувства. Моя всегдашняя цель не гармония и порядок, а подъем и экстаз. Мир не есть мысль, как думают философы, посвятившие свою жизнь мысли. Мир есть, прежде всего и больше всего, – страсть и диалектика страсти. Страсть сменяется охлаждением. Обыденная действительность и есть это охлаждение, когда начинают господствовать интересы и борьба за существование. Ошибочно противопоставлять страсти – мысль, мысль есть тоже страсть. Мысль Ницше или Достоевского так волнует потому, что это страсть. И Христос хотел низвести огонь с неба. Но страсть сопрягается с тоской. Тоска вызывается не только смертью, которая ставит нас перед вечностью, но и жизнью, которая ставит нас перед временем.

«Личности нет без изменения, но личности нет и без неизменности»

Так как жизнь есть прежде всего движение, то основная проблема жизни есть проблема изменения, изменения собственного и изменения окружающих. В связи с движением и изменением происходят переоценки. Личности нет без изменения, но личности нет и без неизменности, верного себе субъекта изменения. «Все, что изменяется, пребывает, а меняется только его состояние», – говорит Кант в первой апологии опыта. Изме-

нение может быть улучшением, восполнением, восхождением, но может быть и ухудшением, может быть изменой. И вся задача в том, чтобы изменение не было изменой, чтобы в нем личность оставалась верной себе. Тут мы встречаемся с одним из самых тяжелых явлений человеческой жизни – с разочарованием в людях. Люди узнаются лучше всего в испытаниях, в катастрофах, опасностях, это стало истиной банальной. Так как мне пришлось жить в эпоху исторических катастроф и порожденных ими ужасов жизни, то я был свидетелем больших изменений и трансформаций людей. Я не знаю ничего более мучительного, чем трудность узнать хорошо известных людей, вследствие изменений, которые они пережили от приспособления к новым условиям после катастрофы. Я это видел в катастрофах, пережитых Россией, я это слышал о Германии, я это вижу во Франции. Мне это трудно понять вследствие отвращения, которое я испытываю к каждой данной действительности и к тем, которые в ней господствуют. Но я был свидетелем и обратного.

«Были люди, которые поражали меня своей высотой в испытаниях и опасностях»

Были люди, которые поражали меня своей высотой в испытаниях и опасностях. Часто я не ожидал этого от них. Более всего меня поражали некоторые женщины, которые, в общем, выносливее и устойчивее мужчин. Я стал относиться к женщинам лучше, чем в молодости. Обратной стороной одиночества была для меня всегда проблема общения. Я всегда очень мечтал об общении и всегда очень плохо умел его осуществлять. И тут я опять сталкиваюсь с проблемой изменения. Иногда характер общения у меня изменялся, и оно даже совсем прекращалось, вследствие изменения во мне самом или в других людях. Это изменение во мне могло быть улучшением, обогащением, тем, что называют «развитием». Но вследствие развития личности могла происходить измена. И в этом есть что-то очень тяжелое. Я это переживаю, как забвение, забвение, происшедшее от того, что сознание сосредоточилось на другом.

Обогащение личности, развитие ее в широту и высоту может породить обеднение в человеческом общении

Обогащение личности, развитие ее в широту и высоту может породить обеднение в человеческом общении. Меня всегда неприятно шокировало, как Гете в «Поэзии и правде моей жизни» описывает свои романы. Для него каждый пережитый им роман был обогащением, способствовал его развитию. Женщину же, которая способствовала его развитию, он забывал, сохранял, впрочем, благодарную память за то, что она развила его. Таким образом, человек превращается в орудие саморазвития, и

«Я был разом
и в глубине жизни...
и вместе с тем как
бы вне ее»

отношение к нему не имеет ценности в себе, как не имеет этой ценности и другой человек. В этом есть что-то совершенно антиперсоналистическое.

Я совсем не говорю в своей книге о самых глубоких общениях моей жизни, с которыми связаны большие обогащения моей жизни, но вместе с тем и драматизм ее. Я имел более глубокий и обширный опыт жизни, чем многие, восклицающие о любви к жизни. Я был разом и в глубине жизни, более, чем бывают философы, и вместе с тем как бы вне ее. Но мне гораздо легче говорить об общении с моим любимым котом Мури и с моими собаками, которых нет уже. Мне не только легче говорить об этом, но, как я говорил уже, мне самое общение с миром животных легче, и тут легче может выразиться мой лиризм, всегда во мне сдавленный. Говорить же о своих интимных чувствах публично, в литературе, мне всегда казалось недостатком стыдливости, нецеломудренным. Лирическая стихия, которою я никогда не обладал способностью выразить, для меня очень связана с музыкой, более, чем со словом.

«С музыкой связан
у меня огромный
эмоциональный
подъем»

С музыкой связан у меня огромный эмоциональный подъем. Странно мое отношение к музыке. Я очень мало музыкальный человек и не имею достаточных познаний в музыке. У меня плохой слух, плохая музыкальная память, от меня ускользают оттенки в исполнении. Я не могу поддерживать разговора о музыке, который поддерживают музыкальные люди и музыкальные критики. Впрочем, о последних должен сказать, что они вряд ли способны наслаждаться музыкой, так как слишком заняты разлагающей критикой музыкального произведения и его исполнения. Критики вообще не наслаждаются искусством, наслаждаются гораздо более те, которые совсем не специалисты по искусству и мало компетентны судить о нем. И вот, несмотря на мою немusicalность, музыка глубоко потрясает мое существо, преодолевает подавленное настроение. При этом я не столько погружаюсь в стихию данной музыки, сколько испытываю творческий подъем моего существа, я как бы перехожу в иной мир. Но с этим связана и моя критика роли музыки в человеческой цивилизации. Эта роль не только положительная, но и отрицательная. Европейская буржуазия, благодаря музыке, получает возможность быстро и без всяких усилий, за 20 франков, переходить в царство небесное, а потом с такой же быстротой обратно переходить в стихию своих неприглядных, низменных земных дел. Музыка сама по себе тут, конечно, не виновата.

«Творческие подъемы гения (Бетховена)... уходят в Царство Божье»

Трагический и страдальческий Бетховен не творил для праздных часов наслаждений европейской буржуазии. Творческие подъемы гения, так часто связанного с несчастной жизнью на земле и не признанного, уходят в Царство Божье. Тем же, что остается на земле от гениальных творческих актов, пользуются менее всего этого достойные. В этом трагедия искусства, посмертная трагедия великих творцов. Я вижу смысл искусства в том, что оно переводит в иной, преображенный мир. Оно освобождает от гнетущей власти обыденности и тогда, когда художественно изображает обыденность. Я называю буржуа по духовному типу всякого, кто наслаждается и развлекается искусством как потребитель, не связывая с этим жажды преображения мира и преображения своей жизни. Должен отметить еще одну особенность своей биографии.

«Я предпочитал по многу раз перечитывать произведения великих писателей»

Я всю жизнь и при всех условиях читал романы и драмы. Я не любил читать произведения современных второстепенных и третьестепенных писателей, я предпочитал по многу раз перечитывать произведения великих писателей (я неисчислимо количество раз перечитал «Войну и мир») или читать исторические и авантюрные романы. Моя оценка романа связана со способностью автора заставить меня войти в свой мир, иной, чем окружающая постылая действительность. Я всегда очень живо переживаю жизнь героев романов, которые читаю. Я люблю кинематограф, потому что он создает иллюзию, уводящую меня от действительности, но огорчаюсь, что так редко бывают хорошие фильмы.

Поучения от русской литературы XIX века

С особенной любовью перечитываю я русскую литературу XIX века и всегда получаю от нее поучение. Много я переоценил в моем отношении к литературе. Русская литература XIX века осталась для меня неизменной и любимой, я еще более ее оценил. Но русская литература начала XX века при перечитывании вызывает во мне разочарование, в ней мало вечно пребывающего, она слишком связана с временем, с годами. То же и с писателями Запада. Диккенса я люблю более, чем раньше. Совершенно неизменно люблю Ибсена, которого перечитываю с любовью, волнением и всегда новым поучением. Всегда готов перечитывать греческую трагедию, Сервантеса, Шекспира, Гете, хотя и не все. Но не могу полюбить специально Данте. Я очень оценил Пруста, которого перечитываем вместе, ценю Кафку и <...> Генри Миллера. Я очень много читаю книг по истории, особенно много биографий исторических деятелей. Это для меня важно, как для историософа, и это есть пища

для моих эсхатологических размышлений. Я говорил уже о значении для меня музыки, она как бы компенсирует недостаток лиризма во мне самом. Но я думаю, что лирическая стихия не отсутствует во мне, а лишь подавлена и вытеснена, прикрыта моей сухостью и ищет того, что ее побеждает.

Страдание,
связанное
с всеобъемлющей
брезгливостью

Если бы меня спросили, отчего я более всего страдаю не в исключительные минуты, а во все минуты жизни и с чем более всего принужден бороться, то я бы ответил – с моей брезгливостью, душевной и физической, брезгливостью патологической и всеобъемлющей. Иногда я с горечью говорю себе, что у меня есть брезгливость вообще к жизни и миру. Это очень тяжело. Я борюсь с этим. Борюсь творческой мыслью и это более всего, борюсь чтением, писанием, борюсь жалостью. И опять возвращаюсь к брезгливости и содрогаюсь от нее. Она направлена и на меня самого. Я часто закрываю глаза, уши, нос. Мир наполнен для меня запахами. Я так страстно люблю дух, потому что он не вызывает брезгливости. Люблю не только дух, но и духи. Моя брезгливость есть, вероятно, одна из причин того, что я стал метафизиком. Очень важно для меня, что я всегда очень любил смех и смешное. В смехе я видел освобождающее начало, возвышающее над властью обыденности. Любил очень остроумие, и это, может быть, французская во мне черта.

§

Противоречивость
человеческой
природы

Я думаю еще об объяснении противоречий, которые во мне замечали окружающие люди, и противоречий, которых не замечали. Это представляет интерес для понимания противоречивости человеческой природы вообще. Человеческая природа противоречива. Это понимает современная психология и особенно психопатология. Так, например, во мне совмещается духовная революционность с большой ролью привычки в моей жизни, анархизм по чувству и убеждению – с любовью к установившемуся порядку в своей жизни. Думаю, что эти противоположные свойства проистекают из другого источника.

Значение привычек

Привычка имеет для меня значение по двум основаниям. Мне необыкновенно трудно все, связанное с устроением обыденной жизни, с материальным миром, я очень неумел во всем этом и боюсь тратить мои силы на эту сторону жизни. Поэтому я всегда стремлюсь к автоматизации всего направленного на внешнюю жизнь, к доведению до минимума усилий, которые по моей неприспосо-

бленности максимальны. Это достигается путем привычки, которая всегда стремится избежать усилия. Я затрачиваю так много сил на мышление и творчество, что у меня остается очень мало сил для всего остального. Я старался выйти из затруднения путем привычки, которая, создавая иллюзию как бы освобождения от материального мира, в действительности освобождает лишь от усилий, которых требует сопротивление материального мира. Но есть еще более метафизическое основание для роли привычки в моей жизни.

Мучительная чуждость мира сопровождала Н. Бердяева в жизни

Я уже не раз говорил о мучительной чуждости мне мира, этого мира в этом его состоянии. Эта чуждость всегда вызывала во мне жгучее чувство тоски, сопровождающей большую часть моей жизни. Привычка есть одна из форм борьбы с чуждостью мира. Я имею в виду привычку, созданную мной, а не навязанную мне. Я пытаюсь создать вокруг себя привычный мир, ослабляющий тоску чуждости. Поэтому я очень люблю свой кабинет, свои книги. Всякое расставание, не только с людьми, но и с местом и вещами, обостряет тоску наступающей чуждости.

В смерти, в убийстве, в ненависти есть предел чуждости

Чуждость вызывает не страх, а тоску. В смерти, в убийстве, в ненависти есть предел чуждости. Зло может быть очень свойственно человеку, но в зле есть чуждость. Человек, одержимый злой страстью, в сущности, одержим силой, чуждой ему, но глубоко вошедшей в него и ставшей как бы его природой. Зло есть самоотчужденность человека. Все религии стремились к преодолению чуждости. Мир не окончательно мне чужд только потому, что есть Бог. Без Бога он мне был бы совершенно чужд. Привычка может быть борьбой с чуждостью в плане обыденной внешней жизни. В сумерки меня охватывает тоска чуждости. Но если в час сумерок я привык делать что-нибудь определенное, ритмизировать свою жизнь, то тоска чуждости ослабевает.

«Объективность, объектность и чуждость» значили для Н. Бердяева одно и то же

Моя революционно-анархическая настроенность хотела бы совершенно опрокинуть этот чуждый мир. Объективность, объектность и чуждость значат для меня одно и то же. Но эта настроенность совмещается во мне с большой привязанностью к близким, беспокойством о них и заботой, часто нелепой. В этой привязанности побеждается чуждость. И эта связь должна остаться, когда чуждый мир будет разрушен. Иногда противоречия говорят об одном и том же свойстве. Думая о своем отношении к жизни, я прихожу к заключению, что я всегда боялся жизни. В этом у меня родство с Ибсеном. Как понять это?

Считая себя храбрым, Н. Бердяев «боялся отдаться потоку жизни»

Я имею основания считать себя человеком храбрым, во мне нет трусости. Но я боялся отдаться потоку жизни. И это потому, что видел конфликт между потоком жизни и моим творчеством. Поток жизни меня иногда уносил, но потом побеждала творческая мысль. Я никогда не обладал искусством жить, моя жизнь не была художественным произведением. Я никогда не разыгрывал своей жизни.

§

Философ счел существенным духовным достижением преодоление в себе соблазнов, связанных с историческим величием, с волей к могуществу

Я хотел заключить мыслью, для меня жизненно очень важной. Вот что я считаю существенным достижением моего духовного пути. Я окончательно преодолел в себе соблазны, связанные с историческим величием, со славой царств, с волей к могуществу. В этих соблазнах я никогда не мог стать вполне самим собой. Я сделал усилие освободить свой культ человеческого творчества от этих элементов и направить его в другую сторону. И я философски осмыслил для себя эту тему. Только осмысливая ее, я пришел к философии, которая меня вполне выражает. Путь исторического величия и могущества есть путь объективации, путь выбрасывания человека во вне и самопорабощения. Этот путь влечет к царству антихриста, которое есть царство античеловеческое. Подлинное же творчество человека должно в героическом усилии прорвать порабощающее царство объективации, кончить роковой путь ее и выйти на свободу, к преображенному миру, к миру экзистенциальной субъективности и духовности, то есть подлинности, к царству человечности, которая может быть лишь царством богочеловечности.

Путь трансцендирования к преображенному и освобожденному миру

Значение своей экзистенциальной мысли я вижу именно в этом предчувствии, в этом сознании двух путей, лежащих перед человеком, – пути объективации, экстерниоризации, заковывания в призрачном могуществе и массивности и пути трансцендирования к преображенному и освобожденному миру, Божьему миру. Очень важно для меня, что я никого не хочу посылать в ад. Не только творческая мысль, но и творческая страсть, страстная воля и страстное чувство должны расковать затверделое сознание и расплавить представший этому сознанию объективный мир. Я удержался в жизни, ни на что не опираясь, кроме искания божественной истины. Мое главное достижение в том, что я основал дело своей жизни на свободе.

Н. Бердяев всю жизнь искал правды, она была как бы a priori его духовного пути

Я не должен представляться каноническим типом верующего. Я чувствую, что ко мне очень мало применимы такие выражения, как «он обратился», «он стал веру-

ющим» или «его вера поколебалась», «он потерял веру». Для меня никогда не существовало ортодоксального «или-или», я не мог бы быть и ортодоксальным скептиком. Все иначе у меня определяется, в более глубинном слое, где не может быть изменений, и я не знаю, сумели ли я дать это почувствовать в своей книге. Я всю жизнь искал правды, которую я изначально нашел, она была как бы а priori моего духовного пути. Существует Сушная Правда, она не походит на мир и на все, что в мире, но она должна открываться и вочеловечиваться. В последний час моей жизни я, наверное, вспомню о моих многочисленных грехах, слабостях и падениях, но, может быть, и дана будет мне благодатная возможность вспомнить, что я принадлежал к алчущим и жаждущим правды. И это единственная из заповедей блаженства, к которой и я могу иметь отношение.

